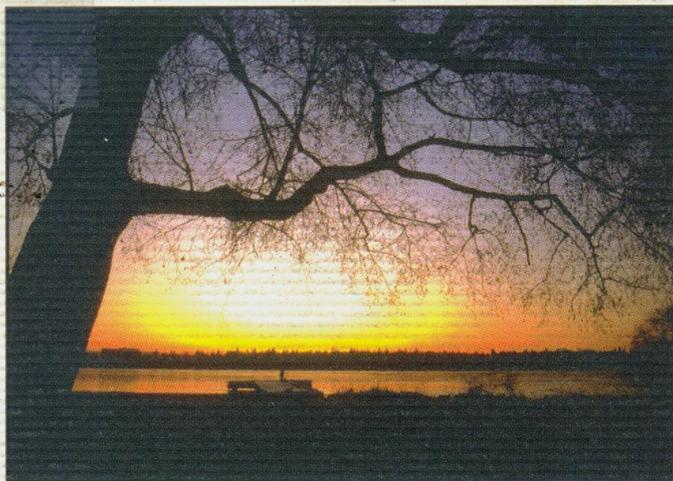


C *JULIO* R
GORTÁZAR



salvo el
C *Crepúsculo*

ALFAGUARA


BIBLIOTECA CORTÁZAR

Оглавление

***	5
VILLET DOUX.....	6
ХРОНИКА ДЛЯ ЦЕЗАРЯ	7
ГЕРОЙ.....	9
***	10
***	13
ТОЧКА ОТСЧЕТА	15
В НОЧИ.....	16
APPEL REJETE.....	17
ЧИТАТЬ СЛЕДУЕТ.....	19
С ВОПРОСИТЕЛЬНОЙ ИНТОНАЦИЕЙ.....	19
***	20
***	22
МИЛОНГА	23
БОГИ.....	24
AFTER SUCH PLEASURES	25
HAPPY NEW YEAR.....	26
***	27
ЛЮБОВНОЕ ПИСЬМО.....	28
СОНЕТ.....	29
ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА	30
БОЛЕРО	31
ГОВОРИТЕ, У ВАС ТРИ МИНУТЫ.....	32
ПАЙ-МАЛЬЧИК	33
ТЫ ПРИШЛА.....	34
МГНОВЕНИЯ	35
БУДУЩЕЕ	36
ЕСЛИ ДОЛЖЕН ЖИТЬ.....	37

ЗАКЛИНАЮ	38
***	39
НОЧНЫЕ МЫСЛИ	39
ЖЕНЩИНЕ.....	40
ДВОЙНОЙ ВЫМЫСЕЛ	41
ЦЕРЕМОНИАЛ	42
МЕРТВАЯ ГОЛУБКА	43
ЗАКОН ПОЭЗИИ	44
ГОЛОС ДАФНЫ	45
ВЕНЕЦИЯ.....	46
СТАТУЯ	47
СТИХОТВОРЕНИЕ.....	48
ДРУЗЬЯ.....	49
ФИНАЛ	50
РУБКА ЛЕСА	51
МАРКО ПОЛО ВСПОМИНАЕТ	52
ОСЕННИЕ ИТОГИ	53
ВОПРОШАЮ	54
ТРАВА.....	55
ГЕЛЬДЕРЛИН	56
СТИХОТВОРЕНИЕ.....	57
***	58
ДИОСКУРЫ	59
РИМСКИЕ НАДГРОБИЯ	60
NOTRE-DAME LA NUIT	61
ВИТРАЖИ БУРЖА	63
ВЕТЕР НА УГЛУ.....	67
НЕЖНОСТЬ.....	68
АРГЕНТИНСКИЕ ЧИНОВНИКИ, УР-РА!.....	69

МАМА	70
ОТЛОЖЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ	72
ХОД ВРЕМЕНИ	73
ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ	74
1950 ГОД - ГОД ОСВОБОДИТЕЛЯ, И Т. Д.	75
PORTRAIT DE FAMILLE	76
***	77

Слово не дело, дело не слово, ну и так далее, слово за слово
Лучше всего: без какого-либо начала, плясать от печки. Никакой хронологии, карточная колода так перетасована, что и сам черт не разберет. Если вспомню даты - я их проставлю. Или - не проставлю. И укажу место написания. Или - не укажу. В любом случае вы тоже будете решать, как вам поступить. Жизнь: указательный палец вниз, авто-стоп, hitchhiking: повезет или не повезет, книги - что машины. Вот одна приближается. Подсадят?, оставят на обочине?

BILLET DOUX

Вчера я получил письмо - нежданно-негаданно.
Не выразить, как мне невыносимо быть одной.
Невыносимо - до слез, ведь мы друг друга любим,

но ныне

любовь опередила нас
и нежными руками

отсутствие скрывает наше».

Исписан весь листок.

И вот - конец.

Любовь моя ушедшая, я должен написать тебе,

я отвечаю:

Буэнос-Айрес, четвертое, ноябрь, год тыща девятьсот
пятидесятый. Четвертое, и
пленницей календаря - луна.

Нам так немного было нужно, чтобы были вместе:

уверенный шаг дня, прямая линия цветка,
определенность встречи.

Да, вот и все, что было нужно.

Легла монета решкой, ковер - изнанкой.

(Никто не виноват, что я живу, что так живу...)

ХРОНИКА ДЛЯ ЦЕЗАРЯ

И ты воздвигнешь великий город
И дороги великого города дойдут до других городов
так чумные крысы заражают других крыс и людей

Все живое в твоём городе восславит тебя
ты будешь почитаем
восхваляем и почитаем
и ты сам станешь произносить свое имя словно чужое
так как перестанешь различать разницу между
людьми и божеством

Вероятно ты будешь счастлив
как всякий мужчина с женщиной как всякий человек
в твоём городе
вероятно ты будешь прекрасен
как всякий идол с каменным ликом
как всякий лев прыгающий сквозь огненный обруч

и ты возведешь башню
будешь покровителем искусств
и каждого седьмого ребенка в семьях назовут
твоим именем

И тогда разве не пустяки что в тени появляется плесень
ведь фабрики дымом пишут в небесах твои инициалы

Меловой круг замкнется
и в пещерах ночи уже не нарисуют спасительных
изображений

Отныне и навсегда ты станешь верховным жрецом
а по утрам официантом у самого себя

И ты воздвигнешь великий город
как строят муравьи муравейник
дойдешь до Румынии
И будет безумная радость в записках
по поводу возвращения победоносного войска

Все это не выйдет за пределы твоего жилища
но от полудня до полуночи
ты все же воздвигнешь великий город

город-сердце город-память город-беславие
Город человека перерастет в человека-город

и станут тебя защищать одни люди от других
потемки от потемок
собаки от собак
дети от детей
но женщины будут все так же спать с мужчинами
а пацифисты призывать к миру

Верю что ты умрешь веря
что воздвиг город

Верю что ты воздвиг город

Верю в тебя
и в город

И теперь да
я верю
теперь я знаю что ты воздвиг город

Ave Caesar

ГЕРОЙ

Его глаза сейчас глядят далёко,
его душа наивна и крылата,
он только начал путь и верит свято:
любую одолеет он дорогу.

Он видит звездный свет своих желаний,
и стрелы солнца, и огни сражений,
и темноты всемирной пораженья,
и фейерверков праздничных сиянье.

Он мчится все быстрее и быстрее,
он стал уже кентавром, весь - движенье,
найти дорогу в город он стремится,
грядущее вздымает, словно знамя.

Проспект манящий видит он далёко,
а что там дальше? Там - мираж, не боле.
К нему стремится, но достичь не может,
хоть верит, что достигнет, и - стремится.

Чтоб он упал - толкать его не надо,
всем телом ощутит свое паденье,
глаз не закрыв, постигнет на мгновенье:
лишь тьма вокруг. Нет света - только тьма.

А он все мчится, мчится...
И на руке - стального цвета сокол,
и камни на дороге ясно слышат
зов человека, мчащегося к цели.

А вскоре - осознание:
конец не будет никогда началом;
и в глубине проспекта -
о, сколь прекрасным тот ему казался! -
он видит только дерево сухое
и сломанный, рассыпавшийся веер.

Когда подхожу к стереофонической установке
и с осторожностью «обуваю» голову в наушники -
моя голова столь хрупка,
но и аппаратура - вещь не менее хрупкая,
что же нужно больше беречь? -
то это именно я - тот, кто подходит к стереоустановке,
тот, кто просовывает голову
в иную ночь, в иную тьму.

За пределами, кажется, все неизменным осталось:
освещенная комната,
Кэрол, читающая роман Вирджинии Вулф,
пачка сигарет, кошка по кличке Фланель - она играет
с бумажным комком -
все то же самое, как если бы и я был здесь, -

и все совершенно иное, ибо внешняя тишина,
наступившая
из-за резиновых кружков, зажимающих уши,
уступает место иной тишине,
внутренней - планетарный ток крови,
черепные каверны, слух открывается для иного
звучанья,

тишина - в ожидании,
бархат тишины, осязание тишины, нечто, похожее
на разбегание галактик, музыка сфер, задыхающаяся
тишина, безмолвное звучанье звездных сверчков,
сгусток ожидания (две, три секунды), и вот - он
проколот,
бывшая ранее тишина исчезает, сверкающее безмолвие
еще остается
в чертом (или красном, или зеленом) плюше наушников,
и вот взрывается первый аккорд,
тоже внутри меня, музыка - внутри моего хрупкого
черепа -

в Британском музее я видел хрустальный череп,
в прозрачной глави которого вспыхивал космический
свет, -

так и музыка не приходит через наушники, она
возникает внутри меня,
я сам - свой собственный слушатель,
прозрачное пространство, в котором бьется ритм,

и наконец, в центре черепной пещеры музыка
начинает ткать желанную мной паутину.

Как же не поверить, что и поэзия, в некотором роде, - слово, которое прислушивается к себе, надев невидимые наушники, едва лишь стихи начинают свое волхование?! Мы можем абстрагироваться, читая рассказ или роман, жить во времени, которое принадлежит прочитанному более, чем время нашего чтения, но все равно мы связаны с окружающей жизнью, и узнанное продолжает оставаться тем, что мы знали, только с эстетическим, иносказательным, символическим плюсом. А стихи говорят только: они - стихи, и не более. Оправданность их рождения и существования в том, чтобы вернуть нас к истокам нашего внутреннего «я», точно так же, как наушники разрушают мост между внешним и внутренним мирами, чтобы создать особое душевное состояние - присутствие и существование музыки, которая приходит, поистине, из глубин темной пещеры.

Никто не описал этого лучше, чем Райнер Мария Рильке, - в первом из сонетов, посвященных Орфею:

O Orpheus singt! O Hoher Baum im Ohr!
(Поет Орфей! Растущим деревом - звук!)

Внутренним деревом: лесом, мгновенно вырастающим, шелестящим всей своей листвой в квартете Брамса или Лютославского. И Рильке завершает сонет - интуитивный образ, утверждающий свою подлинность и все очищающий - изображением диких зверей, усмиренных пением языческого бога, и обращается к Орфею:

da schufst du ihnen Tempel im Gehor.
(ты их вводил в свой голос, словно в Храм).

Конечно, Орфей - музыка, а не поэзия, но, как говорил Валери, они - «подруги, почти близняшки». Если благодаря наушникам музыка приходит к нам из самых своих глубин, то поэзия внутри себя вслушива-

ется в наушники глагола; напечатанное - пульсирующее - слово, сначала прочитанное глазами, вырастает затем высочайшим деревом внутреннего слуха.

Ощущение поэзии в детстве... я бы и рад порассказать об этом побольше, но боюсь впасть в невольный грех лжи, начну вспоминать из *hic et nunc* и почти наверняка искажу прошлое (Пруст, как бы он ни старался, - не исключение).

Есть воспоминания, что налетают внезапно и требуют немедленно их воспроизвести, воспроизвести душевное состояние ребенка: вот я на четвереньках под стеблями помидоров или кукурузы в саду, в Банфилде, король в своем собственном королевстве, разглядываю насекомых без какого-либо энтомологического пристрастия, вдыхаю - чего уже не могу сделать сегодня - запах влажной земли, листьев, цветов. Если перейти к кругу чтения - вижу себя над страницами «Сокровищницы юности» (она издавалась сериями, и «Книга поэзии» вбирала в себя все - от античности до модернизма). Для меня нераздельно: Олега Андриано, Лонгфелло, Мильтон, Гаспар Нуньес де Арсе, Эдгар Аллан По, Сюлли-Прюдом, Виктор Гюго, Рубен Дарио, Ламартин, Беккер, Жозе Мариа де Эредиа... Одно помню точно: предпочтение - оно диктовалось составителем книги - отдавал поэзии рифмованной и ритмизованной, очень рано открыл для себя сонет, дессимы, октавы. И легкость (пугавшая не меня, а маму - она думала, что я ловко плагиатничаю), с какой я писал стихи - с безупречным ритмом, с классически точными рифмами; впрочем, все это *signifying nothings*, романтически-претенциозные вирши ребенка с его выдуманными любовями и днями рождений тетешек или учительниц.

Другое, тоже внезапное: вспоминаю свою влюбленность, отозвавшуюся во мне элегией, которую я написал, прочитав «Ворона», -я и не подозревал тогда, что это зовется аллитерацией:

Бедный поэт, побродяга По!

Помню также последний терцет сонета - я его написал, глядя с балкона десятого этажа на ночной Буэнос-Айрес:

И спящий город кажется с балкона
полуночной поляной, освещенной
миллионным цветом белых маргариток.

Хорошо?, плохо? Полуночной поляной... мальчишка уже не боялся слов, хотя еще и не знал, что с ними делать.

ТОЧКА ОТСЧЕТА

Нет, и поверить нельзя, что двенадцать лет назад
мне исполнилось пятьдесят.

Как же могло случиться, что уже двенадцать лет, как
я стал таким старым?

А скоро скажу: тринадцать лет назад
мне исполнилось пятьдесят. Нет,
нет, невозможно.
Небо - голубое, как никогда,
и ты - прекрасна, как никогда.
А может быть, просто
часы не так выводят свой тик-так?
Запах виски и дым табачный
плывут по комнате - им хочется
побыть со мной... Но нет,
нельзя поверить, что двенадцать лет назад
исполнилось мне дважды по двадцать пять.
Твоя рука перебирает мои волосы,
я знаю: она пытается найти
седые волоски. Ну что ж, с десяток наберется -
но попробуй, отыщи их!
Я снова стал читать классиков,
уже забытых мной. Надо торопиться,
нет, дело не в близкой смерти, просто скоро я скажу:
тринадцать лет назад
мне исполнилось пятьдесят...
А потом будет четырнадцать,
и я боюсь,
я боюсь этой цифры,
если сказать тебе правду,
я боюсь цифры четырнадцать.

Найроби, 1976

В НОЧИ

Этой ночью - руки мои черны, а сердце задыхается,
словно ему пришлось насмерть сражаться

с сороконожкой дыма.

Все оставлено там - бутылки и лодка,

и я не знаю: любят ли меня там и рады ли мне.

В газете, что брошена на постель: дипломатические

приемы,

кровавая классовая борьба, теннис.

Непроходимым лесом окружен мой дом в центре

города,

и я ощущаю: некий слепец умирает сейчас на его

окраине.

Жена, словно моряк, усомнившийся в звездах,

ходит по лестнице - вверх, вниз.

Итак, что мы имеем? - чашку молока, бумаги,

одиннадцать ночи.

И кажется мне: табуны лошадей подходят

к окну за моей спиной.

жертва среди прочих жертв,
я растерзан на сотни тысяч кусков.

Нет, это - еще не мой смертный час,
еще не для палача обнажена шея.

ЧИТАТЬ СЛЕДУЕТ

С ВОПРОСИТЕЛЬНОЙ ИНТОНАЦИЕЙ

Ты видел
ты истинно видел
снег звезды шершавые руки ветра
Ты трогал
ты подлинно трогал
хлеб чашку волосы женщины которую ты любил
Ты жизнь ощущал
словно удар в лицо
словно мгновенье паденье бегство
Ты знал
каждой порой кожи ты знал
вот глаза твои руки твои сердце твое
необходимо от них отказаться
необходимо выплакать их
необходимо придумать их заново

Один из друзей сказал мне: «Любая попытка сочетать стихи с прозой - самоубийство, потому что стихи требуют определенного взгляда, сосредоточенного внимания, даже полного - после прозы - переключения в мозгу, поэтому твой читатель вынужден будет на каждой странице "менять напряжение" и могут перегореть пробки».

Возможно, что это и так, но я все равно убежден: поэзия и проза обладают свойством взаимодействия, и попеременное чтение разножанровых текстов не подавит и не уничтожит ни стихи, ни прозу. В высказывании своего друга я лишний раз вижу ту важность, с которой пытаются поставить поэзию в привилегированное положение и по вине которой большинство нынешних читателей все реже и реже обращается к поэзии в ее чистом виде, предпочитая ей ту, что имеется в романах, рассказах, песнях, фильмах и пьесах; но это позволяет все же надеяться: а) поэзия не утратила своей глубинной внутренней силы и б) хотя внешняя непривычность поэзии в ее чистом виде (и в особенности манера, с которой поэты и издатели предлагают и рекламируют поэзию) сейчас встречает со стороны большинства читателей сопротивление ей и даже отказ от нее, - все-таки любой человек способен воспринимать стихи.

В любом случае, единственное, что в Латинской Америке сейчас принимается во внимание, - это готовность плыть против течения: против конформизма, общепризнанных идей и многоуважаемых кумиров, которые и доныне руководят игрой в Великой Системе. Когда я собирал книгу «Только сумерки» - так же, как и другие, - мою руку направлял азарт, словно ореховый прут руку рабдоманта; руку, точнее сказать - руки, потому что я печатаю на машинке двумя руками - почти так, как он держит прут; и сейчас мне захотелось подойти к пачкам со старыми бумагами и, не читая их, отыскать книжицу в зеленой обложке, куда я в каком-то из шестидесятих годов записывал стихи - в Амстер-

даме, в ожидании самолета. Из полнейшего хаоса рождается порядок; рожденные в иное время и в ином месте, забытые, разделенные годами и листами бумаги, отыскивают себе подобных палеос, а меопас отходят в сторонку, а просемас признают только общество просемас. Игра продолжается - приходило и отчаянье, и желание выбросить все в корзину, где скопилось уже великое множество невоплощенных замыслов, но иногда вдруг врывается и радость - когда, перечитав стихотворение, я хотел погладить его, словно кошку, чья шерсть - наэлектризована.

И пусть Калак и Поланко всякий раз, когда предоставляется им такая возможность, вступают в спор со мной - ничто из их советов не заслуживало бы внимания серьезных библиографов, - в книге «Только сумерки» собрана и поэзия, и проза. Жаль, правда, что несмотря на всю свободу, которую я только и приемлю в творчестве, эта книга принимает вид антологии. Я не терплю бабочек, приколотых к картону; мне нужна поэтическая экология, нужно наблюдать за собой, а подчас, вернувшись из мира прозы, признаваться себе, что только стихи не предаются забвению, что они хранят меня и верны мне, словно старые фотографии. Не приемлю иного расположения книги, кроме подсказанного внутренним единством, иной хронологии, кроме подсказанной сердцем, так же, как иных встреч, кроме случайных, - только они истинные.

Стихи из карманов - в свободную минуту в кафе, в
ночном самолете, в бесчисленных гостиницах.

(В скольких я останавливался?, на скольких
станциях и аэропортах сидел в вечном ожида-
нии: повезет или нет с билетами?)

Менее всего я хотел бы, чтобы получилось нечто
автобиографическое и антологическое: две головы
Аидова пса лают с пишущей машинки, на которой пе-
репечатываю рожденные свободными стихи.

(Но у Цербера - три головы, третья - она
рычит с пеной злобы у рта - это скромность,
мерзопакостная тварь, каковая не существует
сама по себе, но вынуждена существовать,
будучи выдуманной другими.)

Мало-помалу я все же пишу эту треклятую книгу,
навожу порядок, отбираю, меняю местами, к такой-то
маме. Мне даже начинает все это нравиться - по край-
ней мере, в скромности меня не упрекнут.

(Слышу рычание Цербера, его три пасти вот-
вот укусят. Бросаю ему сухарики - тексты
танго.)

МИЛОНГА

Когда жажда меня заставляет поднять голову
чтобы испить темно-ночного вина
я с тоской вспоминаю о Южном Кресте.
Я с тоской вспоминаю сонные магазины
улицы запах травы дрожащий на коже
воздуха.

Я понимаю все это похоже
на карман в котором рука
то и дело нащупывает монетку расческу
перочинный нож
не устающая никогда рука воспоминаний
пересчитывает мертвецов

Южный Крест горький мате.
И голоса друзей
соединенные с другими.

Когда я писал это стихотворение, у меня на родине
еще оставались друзья; позже их или убили, или они
затерялись в бюрократическом и пенсионном безмол-
вии, или, безмолвные сами, уехали в Канаду и Шве-
цию либо пропали неизвестно где, и их имена едва ли
отыщутся в бесконечном списке. В две последние стро-
ки моего стихотворения время внесло свою правку: я
уже не могу даже и вспомнить голоса своих аргентин-
ских друзей, возможно, о чем-либо разговаривающих
в данную минуту. Дай-то Бог, чтобы они были живы.
И если сейчас они ведут какой-либо разговор - о чем
они говорят?

БОГИ

Боги ступают по нашей земле, брезгливо
приподнимая края своих одеяний.
Среди гниющих кошачьих трупов, среди
 раздавленных червей
они проходят в сандалиях,
сырых от плевков времени.

Низринутые на грешную землю страданием,
они уже не живут на небесах,
они шагают, измученные тяжелым сном и
 болотной жижей,
останавливаются, считают своих мертвецов,
собак с высунутыми языками,
и осторожно и жадно заглядывают в бездну,
где крысы грызутся
из-за клочков знамен.

AFTER SUCH PLEASURES

Этой ночью я искал твои губы в чужих губах
и почти поверил в то, что отыскал тебя,
ибо, слепец, я знаю: то, что влечет меня
к женщине, - это река;
но какая тоска - добраться до берега сновидения
и понять: наслаждение - жалкий раб,
получивший фальшивую монету.

Забытая, любимая, - как я желал бы
воскресить то страданье в Буэнос-Айресе,
ту безнадежную надежду.
Если бы вновь полюбить тебя
в доме моем - открытом в сторону порта,
если бы вновь встретить тебя утром в кафе, -
и чтоб ничего-ничего
еще не случилось.
Чтобы не надо было ни о чем забывать,
рук твоих не вычеркивать из памяти,
и пусть одно остается - окно в беззвездное небо.

Алмазных брызг трепещущую нить
Ладонью я стараюсь уловить
Джон Китс
"Чарльзу Клаудену Кларку"

Калак все кружит и кружит вокруг моего стола, и видно, что играть ему уже надоело. Он никогда не станет делать того, что делаю я, хотя бы потому, что он - мое лучшее alter ego, но его относительное молчание - способ принять все то, что постоянно беспокоит мое я; а ведь сейчас, например, мне следовало бы, ни о чем ином не беспокоясь, разматывать этот клубок листов, что накопились за четыре десятка лет и четыре года. Я вынимаю листки из записных книжек и папок, отбрасываю те, какие мне уже ничего не говорят, играю наудачу: а вдруг дни и души, словно мозаичные кусочки, сложатся в картинку. Калак, похоже, понимает, что предыдущая классификация по темам и датам - не слишком удачно придуманное правило игры, и поэтому картинка в моих руках опять рассыпается на кусочки. Мы играем всерьез, Калак и я, а Поланко злится в своем углу и бормочет что-то ядовито-непотребное или делает телодвижения, достойные мухи, выписывающей свои пируэты ни для чего и ни для кого, или же достойные таракана, играющего в шахматы с Бобби Фишером на плиточном полу.

Я представляю, что под конец явятся памеос и просемас - и это будет еще то сборище! - но если книга уже не является материалом для дальнейшей работы, то кому она нужна?! Сейчас более всего нам, Калаку и мне, по душе то, что стишата, словно лягушата, выпрыгивают из своих бумажных колодцев прямо на пишущую машинку, и та выстраивает их в ряд, и меопас очень похожи на мою кошку Фланель (honi soit qui mal у pense: Фланелью она названа только из-за своей мягкой шерстки), а она тоже вспрыгивает на стол и трогает лапкой карандаши, курительные трубки и рукописи. И все это - столь непринужденно, столь случайно, столь кошачно.

ЛЮБОВНОЕ ПИСЬМО

(современное стихотворение)

Все, что я бы в тебе любил,
это так немного по сути,

но по сути - это и есть все

бредущая мимо собака, холм, берег реки,
ежедневная суета, всякие пустяки,
волосы, отливающие пшеницею золотой,
тела твоего запах, что повсюду со мной,
все, что ты говоришь в течение дня, -
в мою защиту и против меня,

это все - так немного,

но ведь я и люблю все это потому, что люблю
тебя.

Пусть ты будешь смотреть мимо меня,
пусть ты будешь любить меня ночью,
ненавидя меня по утрам,
пусть ты вскрикнешь, мне отдаваясь,
и крик твой услышат на улице,

и пусть наслаждения, которым мы предадимся,
станут знаком нашей свободы.

СОНЕТ

Любовь - ракушка, остаются в ней
воспоминанья: образы и звуки;
они всего реальнее - в разлуке:
вдали от моря - моря шум слышней.

Цветок от холода осенних дней
заламывает с болью листья-руки
и оживает в радости и в муке
под солнцем - каждой клеткою своей.

Прекраснейшая статуя, - одна,
всегда одна, и никогда в унынье
(будь гордым ты, но ей не прекословь).

из камня и мечты сотворена,
из - ничего, но подлинна доныне,
белее белой лилии - любовь.

БОЛЕРО

Напрасно думать,
что я могу дать тебе все: любовь и счастье,
поездки, музыку, игрушки.

О да, конечно:
я все свое тебе отдаю,
но только моего - тебе мало,
как и мне мало
только твоего.

Итак: мы никогда не станем
супружеской парой,
ибо мы понимаем,
что только в арифметике
один плюс один дают в результате два.

И вот еще листок,
на нем написано:

Ты всегда была моим зеркалом, то есть я хочу сказать:
чтобы увидеть себя, я должен был смотреться в тебя.

И еще листок:

Мы медлим разлюбить,
машина медленно идет назад,
тела медлят выскользнуть
из простыней и из объятий,

но каждый из нас утром, глядя в зеркало,
смотрит лишь на себя самого
и не глядит вокруг,
и не замечает наготы другого,
и я не люблю тебя -
любимая.

ГОВОРИТЕ, У ВАС ТРИ МИНУТЫ

Я сорвал цветок, чтобы хоть на мгновение тебя
ощутить в своей руке,
выпил бутылочку «божоле», чтобы заглянуть в колодец,
где неуклюже пляшет медведица-луна,
и вот - вернулся домой,
и в золотистом полумраке я снимаю с себя, словно
пиджак, кожу
и слишком хорошо знаю, как одинок буду
посреди этого - самого многолюдного в мире - города.

Ты простишь меня за эти хныканья,
когда узнаешь: здесь холодно, капли дождя падают
в мою чашку с кофе
и сырость на заплесневелых лапках расползается
повсюду.

Простишь меня, тем более, что знаешь:
я думаю о тебе - постоянно, я - словно заведенная
игрушка,
словно озноб лихорадки
или юродивый, что гладит пойманную голубку
и ощущает, как нежно сплетаются вместе пальцы и
перья.

Я верю: ты ощущаешь,
что я ощущаю твое присутствие,
ты сорвала, наверное, тот же самый цветок, что и я,
и сейчас ты вернулась домой,
да, это так,
и мы уже не одиноки,
мы уже - единая пушинка, единый лепесток.

ПАЙ-МАЛЬЧИК

Ботинки у меня всегда крепко-накрепко зашнурованы,
и я не дам городу укусить меня за пятки,
не стану валяться пьяным под мостом, не допущу
стилистических ошибок.

Рубашки мои выглажены,
иногда я хожу в кино, всегда уступаю место дамам.
Если чувства мои в смятенье - мне плохо,
я придирчиво выбираю салфетки, зубную пасту.

Прививки делаю - обязательно.
И влюбленный бедняга, - я не решаюсь залезть
в чашу фонтана:
под гневными взглядами полицейских и нянек
выудить рыбешку для тебя.

ТЫ ПРИШЛА

Какие еще разрушенья оставишь ты здесь,
здесь, на дорогах, где грудь - это коровий череп,
лежащий в пыли под тяжелыми, как эпитафии,
тучами?

Я знаю: ты выдернешь меня с корнем, ты
похожа на разъяренного термита -
уничтожаешь шкафы и лица,
дорогие воспоминанья
и легкую зыбь ностальгии.

И я тебя ненавижу, я лбом упираюсь
в стекло холодной твоей косы,
я хочу отвести ее от себя -
о, похитительница слов,
писем, моего прошлого,
что ограждало стеной меня от меня.

(И если я полностью опустошен тобой,
ты сама вернешься хоть крохотной частицей?
Если ты все взяла у меня,
ты положишь хоть камешек,
чтобы - пусть ненамного - подняться к музыке?)

Тот, кто уходит, - уносит воспоминанья,
свою манеру быть рекой, быть воздухом,
быть прощанием навсегда.

Но однажды кто-нибудь его остановит,
задержит и, пока он ждет, одинокий,
дрожащий внутри своей тьмы,
вернет ему голос, кожу и тело.

Росария Кастельянос "Любовь"

БУДУЩЕЕ

Да, я знаю: тебя не будет.
Тебя не будет ни на улице, ни в ночном
электрическом шорохе
фонарей, ни в выраженьи лица,
когда читаешь меню, ни в улыбке,
смягчающей вагонную тесноту подземки,
ни в книгах, данных тобой, ни в «до завтра».

Тебя не будет ни в моих сновиденьях,
ни в моих - непривычных тебе - испанских словах,
ни в номере телефона,
и в цвете перчаток - тебя не будет.
Любимая, я буду сердиться - не не из-за тебя,
буду покупать конфеты - но не для тебя,
буду ждать на углу - нонеты придешь,
буду произносить слова, какие только придут на ум,
буду съедать то, что принесет официант,
и буду видеть сны, какие будут мне сниться,
но я знаю: тебя не будет -
ни здесь, во мне, в камере-одиночке, где я еще
удерживаю тебя,
ни там, в мотке мостов и улиц.
Тебя не будет - нигде, нисколько, ты не станешь
даже воспоминаньем,
я буду думать о тебе -
но думать о тебе: лишь тщетно пытаться
вспомнить тебя.

ЕСЛИ ДОЛЖЕН ЖИТЬ...

Если должен жить без тебя - пусть все станет
нелепым и неприятным,
суп холодным, ботинки дырявыми, или пусть
на середине жизни
возникнет сухая ветка чахотки, пусть прокричат мне
имя искалеченное твое, пусть пальцы мои
судорогой навеки сведет, и ничто не принесет
мне покоя.

Нет, это не научит меня любить тебя больше,
но, оказавшись за дверью счастья,
я осознаю, что это значит: ты - рядом.
Да, наверное, я осознаю это, но нет:
пусть притолоку дверную покроет иней,
пусть, стоящий в подъезде, я пойму,
что это значит: свет в столовой, белые скатерти,
хрусткий аромат свежего хлеба.

Я так далеко от тебя,
как один глаз от другого,
но, может быть, эта разлука
рождает новое зрение наше.

ЗАКЛИНАЮ

Не давай мне отдыха, никогда не прощай меня.
Преследуй меня неотступно, меня - во мне.
Не позволяй мне спать, спуску мне не давай.
Тогда завоюю царство свое,
тогда появлюсь на свет.
Не слушай меня, как слушают легкую музыку;
ни ласки, ни кротости - не надо;
высекай меня, словно искру кремь;
надежды лиши.
Сохрани человеческую любовь, улыбку. Дай их мне.
Приди ко мне - с яростью в ледяных глазах.
Закричи. Забей мне глотку песком, разорви мои губы.
Пусть при свете солнца не узнаю тебя,
но я знаю: ты глаз не прячешь ни от людей,
ни от солнца.
Истерзай.

И я прошу...
прошу о том, о чем не просит никто: вонзи
иглы до самых костей. Сорви с меня это лицо;
заставь выкрикнуть имя подлинное мое.

Париж, 1951-1952 г.

Без перемен. Иду по каменистой улице,
мне наизусть известной. Все без проблем
и впрямь. Я все постиг,
был и ушел.

Сесар Вальехо «Трильсе»

На дороге
нет уже никого -
только сумерки.
Басё

НОЧНЫЕ МЫСЛИ

Всякое рассуждение о любви - это повторение рассуждений из вечных и увечных. Какой смысл доискиваться какого-либо смысла в том, что иррациональнее всего, в том, что мы называем сердцем. Как рассудок рассудит стремление сердца вести кровь-корабль прямо на мель, где неизменно потерпит крушение?

ЖЕНЩИНЕ

Не плачь оттого, что балкон исчез под зеленью плюща,
не печалься оттого что тучи не дают тебе выйти из дому.
Посмотри: туча - вон там,
она постоянна в своем непостоянстве, а ты и я... -
но к чему именовать прах и пепел.

Да, мы ошиблись, думая, что мгновенье -
быстротечно, что капля скользит по листу лишь для
того, чтобы впитаться в землю.
Только быстротечное и живет, нелепое растеньице,
о котором и ведать не ведает черепаха,
эта беспанцирная черепаха, что глядит пустыми
глазами в вечность,
звук без пения, слово без гласных, голосовые связки
без крика предсмертного,
маисовые башни, безглазые горы.
А мы, связанные совестью-временем,
мы не можем бежать от ужаса или наслаждения,
и палачи вырывают нам веки,
чтобы, не закрывая глаз, мы глядели на то, как плющ
закрывает балкон,
как тучи бегут в грядущее.

Что я хочу этим сказать? Ничего. Чашку чая,
пожалуйста.
Бормотанье; и ты - силуэт,
что вырезан ножницами из бумаги. Пустая тщета -
верить:
что-то рождается или же умирает,
ведь только и есть, что дыра в бумаге,
и наши безутешные рыдания - сон и забвенье.

ДВОЙНОЙ ВЫМЫСЕЛ

Когда небесной розы лепестки
нам отсчитают время возвращенья
и неподвижную безмолвной тенью
застынут слов холодные ростки, -

пусть нас любовь проводит до реки,
где отойдет челнок - спустя мгновенье,
пусть имя легкое твое в смятеньи
проснется в линиях моей руки.

Я выдумал тебя - я существую;
орлица, с берега, из тьмы слежу я,
как гордо ты паришь, мое созданье,

и тень твоя - сверкание огня,
из-под небес я слышу заклинанье,
которым ты воссоздаешь меня.

Нью-Дели, 1968

Сонеты - в наше бурное время?! Для многих это - анахронизм, а для меня скорее - со-хронизм. Кроме того, сонет - это тайный ужас поэзии на испанском языке, и поэт знает, что в любой момент может явиться Вьоланта и потребовать создать сонет. И неважно, что у нее будет другое имя, и другой цвет глаз, и другой цвет волос на лобке - она всегда ждет сонета. Смешно?, но сколько надобно таланта?..

ЦЕРЕМОНИАЛ

В постели, к бесконечности открытой,
я раскрывал тебя среди рыданий
твоих и дрожи тела, но заране
любое сострадание забыто;

я был гончар, из глины, мной добытой,
я медленно лепил обряд желанья;
вода, трава и солнце - в ожиданьи,
когда предстанет миру Афродита.

А ты в моих руках была клубком,
и время пряжу разматает скоро -
нам временных не преступить границ.

Не знаю, что ты видела в моем
лице, но я был зеркалом, в котором
поет змея средь горных трав и птиц.

Под одной и той же крышею
спят придворные,
клевер и луна.

Басё

МЕРТВАЯ ГОЛУБКА

Посвящается Эдуардо Кастаньино

Столь тяжела земля, и столь жесток
закон, тебя лишаящий движенья,
и смертью обернулось притяженье,
расплющен мир, что прежде был высок.

Кораблик белый, маленькой цветок
небес, по ним летящий легкой тенью!
Крушением закончилось круженье,
крылатой крови остановлен ток.

Средь трав недвижных кажется нагим
лишенное полета птичье тело.
Хоть ты и стала пленницей земли

и крыльям не расправиться твоим -
но суть твоя в просторы без предела
взлетит, растаяв в голубой дали.

ЗАКОН ПОЭЗИИ

Я не устану повторять:
стихам оставим равносложность,
пусть это будет непреложно,
коль не хотим их потерять.

Мы - путь извилистой реки,
двойное карт изображение,
дороги поворот - паденье
фигурок с шахматной доски.

И падают в стихи слова,
в воспоминание - рыданье,
ночь падает - и мирозданье
просматривается едва.

Освободиться от забот?
Освободиться от свободы!
И развязать узлы в два счета,
хоть их завязывал весь год.

Как в яблоко ты - жадным ртом,
как я в тебя - всем жадным телом -
так бабочка в окно влетела
свой танец станцевать с огнем.

ГОЛОС ДАФНЫ

Ты веришь - трепет листьев несомненно
одно лишь означает: пощади?!
Но если стон и рвется из груди -
он радости исполнен сокровенной.

На берегу застыла я смиренно.
О, Аполлон, лишь на меня гляди.
Ты был влюблен. Прости меня. Приди,
из твоего уже не вырвусь плена.

Омой меня воздушною волной,
я пряди-ветви в страсти разметала;
и мне жалеть ли о своей судьбе?

Люблю тебя, мучитель нежный мой;
я женщиною от тебя бежала,
и деревом я отдаюсь тебе.

ВЕНЕЦИЯ

Лагуны раковина свято
минувшее в себе хранит.
Вот - лев, страж города. Гранит
Сан-Марко. Рядом - мрамор статуй.

Как пепел - стайки голубей,
гондолы след на глади водной -
воочию глядишь сегодня
на то, что знал с молодых ногтей.

Мелькают наших дней мгновенья -
с их постоянной суетой -
над изумрудною водой,
над камнем розовых ступеней.

Но и мгновению дано
постичь: есть вечное на свете.
Дворцы встают из тьмы столетий,
хоть их творцы мертвы давно.

(С каким неистовством, с какою
любовью должен был творить
художник, чтобы победить:
окаменеть, став красотою!)

Фонарь гондолы над лагуной,
искрясь, во тьме ночной скользит;

и кажется: собор звучит,
дрожат колонн тугие струны;

Венеция, ты - розой юной
растешь среди могильных плит.

СТАТУЯ

(Майоль)

Свет дневной ее не касается,
он обходит ее стороною,
тонкой тенью обводит сквозною,
прикоснуться к ней опасается.

Воздух, вкрадчив, течет - появляется
то живот, то бедро, то колено,
словно статуя постепенно
в самое себя возвращается.

СТИХОТВОРЕНИЕ

Любая жизнь - вчера была,
и встреча всякая - утрата.
Обещано - то, что когда-то
весна уже нам отдала.

Вот роза расцвела - как нов
ее огонь, как иллюзорен!
В цветке новорожденном - море
уже увядших лепестков.

И если ныне, может быть,
напрасно жаждешь поцелуя,
ты все-таки сумей, ликуя,
жар губ Елены ощутить.

ДРУЗЬЯ

В дыму табачном, в кофе и вине,
подобно голосам из дальней дали,
когда значенья слов поймешь едва ли,
они в ночной приходят тишине.

Они - судьбою общей - братья мне,
как Диоскуры, неразлучны стали,
всегда мне удержаться помогли
на - сколь высокой ни была - волне.

Мне мертвых голоса всего слышней;
живые дарят верностью своей;
я жизнью и обласкан, и обманут.

И мне надежда тайная дана:
я буду с той же нежностью помянут,
с какой их называю имена.

ФИНАЛ

Когда, почти неслышно, запоздало,
жизнь все же возвращается: дыханьем
прохлады, облаком летящим, гранью
стакана - как в нем солнце заиграло! -

и в утренней лазури замелькала
стремительная тень пичуги ранней,
а поцелуй - лишь губ воспоминанье
о том, что раньше сердце обжигало, -

я вновь тебя рождаю; в мире целом
лишь ореол твой, как и прежде ярок
(он сохранил все многоцветье детства),

ты одиночество преодолела,
любовь! и зеркало - твой мне подарок,
но мне в него не суждено глядеться.

РУБКА ЛЕСА

Cherchez, cherchez, oiseaux...
Жюль Сюпервьель

Дерево было рукой - рукой, что ловила тучи,
что тянулась, пытаюсь достать - но тщетно -
далекое время,
по пальцам ее пробежали юркие ящерки,
отыскивая среди листвы смутные воспоминанья.

Дерево повалили и топорами вскрыли грудную
клетку,
поплевав на ладони, терзали тело живое;
без жалости, напевая, отсекали за веткой ветку,
в слезах лежало оно, прижавшись к земле щекою.

Дерево называлось: сосной, омбу, эвкалиптом,
тополем серебристым, плакучею ивой.
Ночью - чтобы о том не узнали жители леса -
его разъяли на части топором и пилою.

(А бабочки все прилетали, без устали вспоминая:
там, где воздух пустой, - крона была густая;
и долго еще, горюя, кузнечик сидел без движенья,
и птицы свивали гнезда на ветках воображенья.)

МАРКО ПОЛО ВСПОМИНАЕТ

Твой край - далек, неласков и жесток.
Деревья - с жадно-цепкими корнями,
и мошек - миллионы, и кротоми
страна изрыта вдоль и поперек.

К восходу солнца шел я много лет
и пересек страны твоей границы.
Возьмите корм, таможенницы-птицы.
Зеленый страж, возьми мой амулет.

Напевный твой язык - язык людей,
беседовать привыкших с облаками;
но - путь опасен, и непрочен камень,
а горы - круче, чудеса - чудней,

И не пространство - время исказил
обсидиан дверей, и ты-за ними.
Как древний гонг, мое звучало имя,
и мой приход пергамент возвестил.

Тринадцать - жарких, словно день, - ночей,
и мошкара во тьме кишмя кишела...
А ты-о, как твое прекрасно тело! -
так далека за створками дверей.

Ты слуг послала путь мой отыскать
(ушли верблюды с кладью драгоценной),
но неудача ждет их, несомненно,
рабы вернуться без меня опять.

Тебя забыть?! Я вижу наяву
(к чему верблюды с кладью драгоценной):
я сам к тебе по волнам белопенным
под изумрудным парусом плыву.

ОСЕННИЕ ИТОГИ

Под сводами вечера каждая птаха - острое
воспоминания.

Порой поражает: пламя времени
возвращается к нам, возвращается бестелесное,
возвращается беспричинное,
а красота - столь недолгая в жестоком порыве
любви -
охраняет нас отзвуком ночи.

Руки безвольно падают,
в сердце - неразбериха, и еще - запах пыли:
розы пыльца, пыль дороги?..
Полет - выше взмаха крыла.
Без ложной скромности: то, что осталось,
было создано в одиночестве и отвоевано
у тьмы -
ветка в руке, на щеке от слез беспричинных след,
жизнь человека
и лампа, льющая свет.

ВОПРОШАЮ

Ни о славе, ни о снеге - не спрашиваю;
я хочу знать: где гнездятся мертвые ласточки,
куда уходят пустые спичечные коробки?
Пусть мир огромен -
но есть в нем ножнички для ногтей, есть пушинки,
усталые письма, выпадающие ресницы.
Куда уходят туман, кофейная гуща,
старые календари?

Я спрашиваю о милых и нелепых пустяках
и - посреди кладбища - начинаю догадываться:
наш страх все растет и растет,
птица Рух высиживает своих птенцов.

ТРАВА

Реколета, Буэнос-Айрес

О чем тебе рассказывает камень,
когда, трава, ты на могилах спишь?
Тебя качает мягкими руками

вечерний ветер. У могильных ниш
ты слышишь жалобы, рыдания, тайны -
ты слышишь все, и все в себе таишь.

Но только ты и бродишь непрестанно
среди надгробий в темноте ночной,
и мертвым слышать голос твой - не странно.

Они лежат, укрытые тобой,
как будто одеялами укрыты.
И мир с его никчемной суетой -

что он тебе? Ты - здесь, на вечных плитах.

ГЕЛЬДЕРЛИН

Тучи - дети воды и земли, -
Поднимаясь легко по ступеням
Невидимки-горы, пожирают
Неба простор беспредельный,
Тяжесть его пространства.
Гейзерам, юбкам подобно -
Выше и выше взлетают;
Времени тяжесть преодолев,
Падают ливнем на землю.
Вновь их рождают ивы;
Птичьи стаи стремятся
Постичь глубину их тайны.

СТИХОТВОРЕНИЕ

Осаждаемый пчелами,
под порывами ветра
я живу, словно ветка,
и, окруженный насмешниками-врагами,
тку полотно своих книг,
создаю свой чудесный мир -
свой наполненный ветром парус.

Одна из знакомых, из тех, кто играет в литературные игры, привезла мне из Японии записную книжку в обложке из желтого шелка, с наибелейшей бумагой. Я долго берег ее девственную чистоту; глядя на сверкающие белизной страницы, я все никак не мог собраться с духом и начать в ней писать. Но однажды - в ночи одиночества на rue de L'Eregeron - когда я принял уже определенную дозу музыки и вина, я увидел рождение иной ночи - ночи, в которой не было меня, ибо она не была моей; я увидел подруг - и реально существующих, и рожденных воображением, и мертвых, и живых, - все они пришли в комнату, где было тесно, где были подушки для сидения и ковры, и изящный беспорядок в стиле belle époque; светильники на полу, дым от курения гашиша, стаканы и одежда вперемешку с раскрытыми книгами и bibelots - любимыми и забытыми; ночь свидания с подругами, на которое я смотрел из башни одиночества, из моей собственной магической башни - свидание с марионетками, реально существующими и вызванными заклинаниями из романов и стихов, все они сдались на милость ночной игре, меряли друг друга взглядами, и болтали, и любили, и смеялись, это была лесбийская любовь, не являясь таковой и оказываясь таковой; и казалось: все они были знакомы друг с другом, или любили друг друга, или просто представляли по фотографиям, стихам либо романам, в которые они вошли как мои героини - и вот теперь они входили в японскую записную книжку.

Праздник так никогда и не закончился для меня, я верил, что он бесконечен, и верил, что книжка заполнится их играми, но на рассвете мои героини устали, цвет сероватого света, что царапался в окна, не был их цветом, и они как бы стали зевать и засыпать - на диванах, на полу, в обнимку и поодиночке, среди подушек и тел. И они ушли от меня - выскользнули из книжки, и в ней осталось только то, что она сберегла в своей шелковой раковине, и не раз я подносил ее к уху, надеясь еще услышать их голоса...

ДИОСКУРЫ

Греческая ваза в музее Ватикана

Если предположить, что бессмертие - это смерть
звезды, бесконечности, и что кровь,
в неистовом беге наслаждения, стремится к пределу,
мы даруем тебе, о, Леда,
обоих твоих сыновей; пусть они сменяют друг друга.

Когда Кастор сойдет в царство теней,
Полидевк возвратится и войдет
в дом, и только пес встретит его.
Из столь скорбного путешествия возвращаешься ты,
что глаза твои пепельно-серы, а кожа
источает смрад асфodelий.
Ты - бессмертен, ты уступаешь -
в братской любви - свое место под солнцем
Кастору: пусть он вернется к матери
и к стремительному бегу коней.

О, Полидевк, не тебя видят ее глаза, твой приход
означает прощанье с тобой.
Леда, протягивая цветок,
возвещает: пора уже в путь.
Спиной повернувшись к вечности, она, сама вечная,
предпочла бы того, кого выбрала ее кровь,
того, кто погиб в сраженьи, кто зовется прахом
земным.

И тебе, Полидевк, только верить осталось
в гостеприимство пса
и в то, что на этой щеке, которой коснулся губами,
отыщут свой путь соленые слезы плача по тому,
кто уходит.

РИМСКИЕ НАДГРОБИЯ

Аппиева дорога

Надгробия, деревья смерти, а над ними -
задумчивые кипарисы Рима; надгробия, фигуры,
застывшие во времени, но время все же
уничтожает их;

крошатся барельефы,
орнамент осыпается - и только
могилы остаются,

и голуби летают
меж надгробий.

Мать прокаженных, черепаха вечности,
я поднимаюсь, и я отхожу - к подлинной песне,
к невинности, к сладости материнского молока,
к пребыванию в воздухе и в легенде, -
для того, чтобы выпечь хлеб для тебя
и размочить его в вечности.

Не улетай, касатка, - вот в это мгновенье
я становлюсь зерном, кувшином, где пляшет вода,
и, ослепший от города, я натыкаюсь на порталы,
и напрасно врата защищают тебя от этой любви,
словно сухой листок, я упаду в центре тебя,
я хочу воссоздать тебя и разрушить.
О, ночь, наступил этот день!

Снова - тень,
снова - снаружи - я рисую тебя:
камень, одиночество, площадь.
Ты - на свободе;
я смотрю на тебя - из себя.
Я поднимаюсь, и я отхожу:
спи, стеклянная чаша. Я - граница твоя,
свои обрубки кровавые протягиваешь ты к небесам.

Существует только любовь, рожденная из ничего,
существует только ничто, создающее образ собора.

ВИТРАЖИ БУРЖА

И пред престолом море стеклянное,
подобное кристаллу.

Апокалипсис, 4,6

I

Хорал из травы, моря, лозы, - он вздымает
образы людей и их имена,
их вечное предназначенье,
и закрывает небесную крону над стволом
собора,
и открывает новое - живописное - небо
пророков и мучеников,
сад, орошенный светлым дождем пространства.

Неф-корабль вырастает - словно безбрежное
море Святого Стефана,
светят прозрачные весла
и звучат голоса невидимых моряков.
Белый, зеленый, желтый, лиловый,
красный - настолько прекрасный! - и этот взор
неба, освещающий
туники, и города, и покрывала,
он пронзает круг зодиака,
что осыпан звездной мукою муки.

Слышат глаза музыку солнца, -
оно снова и снова берет свою лиру,
снова и снова творит для человека.
Застывшее время падающей воды;
о, прозрачность пылающих пчел!
Цветочной пылью наполнен ветер,
подгоняющий корабли,
и с каждым новым рассветом
уже с давних времен
все растет и растет рой пчелиный.
И это - все те же цветы и все те же пчелы.

Половодье света уничтожает тяжесть
земного времени,
затопляет жажду горького ожидания.

и пляшущая Саломея, -
красные одежды танца,
словно пламени языки.

Выбери свое изображение.
Вот святой, вот судия, еретик, мученик и палач,
и блудный сын, уходящий из дому
с соколом на руке.
Возьми свою карту - иди
по жизни.

II

На высоте человеческого роста, лицом к лицу,
позволяя себя разглядывать, -
идут дароносцы: плотники, кузнецы, пекари,
скорняки, ювелиры, кожевники,
и каменщики, впрягшиеся в камень,
и самаритянские водоносы, дающие лунные
ночи в обмен на монеты.

Но выше, выше, к Таинственному.
Душа смиренно
отыскивает путь,
нас возвышающий, ночную дорогу
меж волком, разбойником и блудницей
к скиту в горах, и небо - словно плащ
Святого Мартина, укрывающий того,
кто продрог и наг.

Но выше, выше, к таинственным письменам.

О, тщеславные фигурки, вы - вечны
в своей славе, своей любви, в своих страданиях,
святые на праведном пути,
пророки, изрекающие нетленные слова,
высокие башни, -
словно цветок, тщательно
вписанный в центр мира, -
сколько детского удивленья, сколько веры!

Витражи распахиваются навстречу тому,

кто пришел ради мира и ради счастья.
Словно один ребенок другому, -
просящему показывают они пророчества Библии,
даруют ему белые камешки,
и утреннюю звезду,
и землю с людьми,
и аквариум с рыбами,
и все многоцветье сна.

Человек выходит из церкви:
его настигают голод, налоги,
стрелы страдания
и отчаянье без предела.
Но в центре - остается собор,
и в его спелое яблоко вгрызается солнце.

В Буэнос-Айресе мы слышали по радио голос Луи Армстронга, вопрошавшего: How long, how long I'll have to wait?, и я вспоминал одну аргентинскую песню, в которой звучал вопрос: "Когда моя жизнь, когда?" И вот:

АРГЕНТИНСКИЕ ЧИНОВНИКИ, УР-РА!

Этот - живет на жалованье,
тот - жалуется на жизнь.
Французская булка, дешевая болонская
колбаса,
залив Ла-Плата.

Идет, идет пароход.
Сидите и ждите свое когда
среди сотен тысяч других когда.
Где - это мы знаем:
кафе
ипподром

дешевый курорт в горах, Сан-Исидро,
работа - одиннадцать месяцев и столько-то
дней -
в конторе с бесшумными вентиляторами,
и начальников - только пять.

Когда, моя жизнь, когда.

Я вернулся в Буэнос-Айрес, а два года спустя снова уехал из него - я не мог вынести постоянной лжи, она была всюду: от внутренних переживаний до внешней жизни, из которой улицы перонистского Буэнос-Айреса вычеркивали меня. Но для чего говорить сейчас об этом, если стихи - без слов - и так говорят о том же? Ирония, печальная нежность, постоянное обдумывание планов бегства - все это было словно завещанием некоего аргентинца, который не ощущает и никогда не ощутит себя беглецом, а только хозяином положения - пусть и продаст все до последней книги и последней пластинки, чтобы уехать: уехать, не держа на сердце зла, вежливо, простившись на пороге с друзьями и родственниками, с теми, кто никогда не прочтет этого завещания.

МАМА

Встав впереди тебя, я гляжу на себя в зеркало - и оно не отражает происшедших со мной перемен, галстука моего нового и прически. Я вижу себя таким, каким ты видишь меня, - частью тебя, от тебя отторгнутой.

О, мама, вот твой сын, это он потупил твой взор - пусть зеркало замолчит, и мы сможем найти общий язык. И пусть о разном, по разные стороны бытия, будем мы говорить одинаковыми словами. Ты - это урна с прахом (я сжигал тебя), но все так же висит мое детское полотенце, и сероглазый огромный сыч все еще ожидает моих речей о справедливости, честности и радиотелефонной морали. Мама, я не могу воссоединиться с самим собой, не могу стать тем, кого ты все еще видишь. Не могу освободиться от себя, нынешнего, а в зеркале нежной улыбки твоей все еще отражается тот, кто мною раздавлен - славный пингвинчик, уходящий и возвращающийся, и до последней минуты бесстрашный, тот, каким

ты хотела видеть меня: честный, счастливый,
ласковый и получивший образование.

Прийти на мгновение. Даже не
обернуться: я всегда
уходящий. Смотрю на все,
уходя, падаю, уходя.

Фратиско Урондо. «Каноны»

ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ

Я еще сплю на ходу,
натыкаюсь на вещи, сейчас такие непривычные,
слышу музыку, такую необычную.

Сейчас-сейчас я проснусь, - но еще
живо во мне воспоминание сна. А уже
по другую сторону часов
свой нос рассматриваешь, брови,
и с наслаждением
лишний раз заходишь в комнату перед уходом.
Как хорошо, как-на-пле-вать-на-вче-ра,
как хорошо мне! (И еще жив во мне
предутренний сон,
еще жив, не забывается,

ведь это действительно - я, но вскоре я исчезну,
меня заменят: рабочий день, и кофе, и имя мое,
и известия, приходящие из внешнего извне.)

1950 ГОД - ГОД ОСВОБОДИТЕЛЯ, И Т. Д.

И если плач начнет искать тебя.
(Из танго)

И если плач начнет искать тебя,
ты бей его в лицо, малыш,
владелец настоящих слез.
Плачь, аргентинец, выплачь наконец
свой плач законный,
лицом в жилетку времени уткнувшись,
оплакивай несчастья свои,
и одиночество - ему нет извиненья,
оплакивай вину за мир, который ты не заслужил,
и сон послеобеденный тех, кто наелся.
Оплачь и детство, которое украли фильмы,
и юность, в которой не было любви ответной,
оплачь свой список послужной, чемпионаты
и свой диплом -
он дан тебе на счастье иль несчастье,
и на равнине необъятной ты прикован
к клочку земли, ну, оплати его
ежеквартальной квотой.

PORTRAIT DE FAMILLE

Долбит в мозгу... вновь просыпаться с острой
болью в каждом зубе

и ощущать:

как голоден!

Поглаживаешь руки, ожидая?

Все - прахом. Подожди:

отыщут в пряже нить -

тебе на шею набросят петлю.

Долбит в мозгу... звенит, пугает

беднягу, что вышел прогуляться

со своей супругой,

кино, печенье, шоколад

(а канарейка? Ее не позабыли покормить?

Ах, птичка Божья,

так одиноко ей в пустой квартире).

Долбит в мозгу... подняться

и возгласить: «Сеньоры, какая радость

быть живым!» Но вот это -

что это? Клей на зеркале,

бриллиантин на траурной одежде,

и рубашка... быть втиснутым

в рубашку из кожи собственной,

из поплина, из шелка, - нет! Ведь там

внутри был я,

я,

какая радость быть живым, возвыситься

над стулом,

говорить!

Да, говорить, - понос словесный

течет по лацканам: «Сеньоры, сколь глубоко

и своевременно... движение вперед,

движение вперед, вперед,

обед

какая радость

какая радость

какая радость».

Я ушел, как уходят люди в иной мир.
Так кончается «Дон Сегундо Сомбра»,
так кончается гнев человеческий: оставьте
меня, обмытого и вместе с тем грязного,
наедине с другими небесами. Да, словно
Орфей, я столько раз оглядывался назад и
расплачивался за это. Я и поныне распла-
чиваюсь; и все смотрю и смотреть буду на
тебя, Эвридика-Аргентина.